

В толстовской литературе со временем как-то затерялся очерк известного художника Николая Павловича Ульянова (1875–1949). В юности он учился в Школе живописи, ваяния и зодчества в Москве в одно время со старшей дочерью Льва Толстого Татьяной Львовной. В 90-е годы Ульянов вместе с группой молодежи бывал в хамовническом доме Толстых, имел возможность наблюдать непростую семейную ситуацию, беседовал с великим писателем. Впервые очерк «Л.Н. Толстой» появился в журнале «Новый мир» в феврале 1931 года, когда отшумели юбилейные торжества и Ульянов отчетливо осознал, что ему есть что сказать, ибо так, как он увидел Толстого, великого писателя не видел никто.

«Как живописец я оставляю за собой некое право передавать то, что цепляет глаз художника и настораживает мысль профессионала», — так сформулировал Николай Ульянов свое творческое кредо в книге «Мои встречи». Оно распространяется и на его портреты, рисунки, акварели, и на его мемуары. К образу Толстого художник возвращался не раз. В его записных книжках есть такое размышление: «У Толстого (Льва) искусство есть образец настоящего. Вот человек, у которого живут земные звоны, трепеты и тревога жизни. В каждой строке Льва Толстого бьется горячий пульс». В архиве Ульянова остались довольно интересные черновые наброски, не вошедшие ни в журнальный вариант очерка, ни в перепечатанный текст, опубликованный уже после смерти мастера.

Воспоминания Николая Ульянова о Льве Толстом печатаются по машинописной копии и черновому автографу, сохранившемуся в личном фонде художника в РГАЛИ.



Николай Ульянов «Лев Толстой и Николай Ге».

ПРИВЫКШИЕ бывать у Толстых иногда могли даже забыть, что они находятся у Льва Толстого. Не легко и не сразу они осваивались с особенностями этого дома, но, освоившись, уже не так остро ощущали присутствие в нем «великого писателя». День за днем в их глазах постепенно Лев Николаевич превращался просто в любезного и обходительного «семейственного» человека. И только громкий возглас, в определенные часы раздающийся где-то рядом, в соседней комнате или на лестнице — «Корректур!» — заставлял опять настораживаться, вспоминать, догадываться: корректур... А-а! Это отписки, принесенные из типографии. При этом возгласе каждый невольно оборачивался в ту сторону, где сидел сделавшийся было обыкновенным, а теперь опять не просто Лев Николаевич, а писатель Толстой. Он пьет чай, сосредоточенно думает, он будто ничего не слышит, а кто-то, прежде других Мария Львовна, уже срывается с места и исчезает куда-то. Машина работает, машина не останавливается, Толстой движет мыслью, печатает. Здание во дворе, похожее на сарай, есть то, что связано с корректурой, с движением неостанавливающейся машины. Это склад изданий, «хозяйство мировой славы» и в то же время хозяйство Софьи Андреевны.

«Ангелам своим заповедует сохранить тебя; и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею». Этим текстом из Евангелия (на самом деле из Псалтири. — Ред.) когда-то начал свою речь о Толстом М. Волошин. В самом деле, разве Толстой не был поставлен в исключительно благоприятные условия для развития своего дарования? Как бы ни относиться к влиянию Софьи Андреевны на Толстого, нужно, однако, признать, что среди многих «ангелов» она оказалась наиболее реальным и деловитым, исполняя сложную роль жены, заботливой няньки и надежного управляющего. Да, до определенного момента, а потом, а дальше? Раздор, «духовное расхождение»... Все это можно было бы поставить в вину целиком ей одной, если бы только сам Толстой не проявлял колебания в основных вопросах, в вопросах о материальных благах, от которых он хотел, но не мог решительно отказаться. Толстой пропустил все сроки. Посевы ветер, он пожал бурю. Ничего нет нового в том, что в кругу обеспеченных людей большинство вопросов жидкнется на деньгах, они начинают и конец взаимоотношений среди далеких и близких... [...]

Возможно, что иногда он и хотел бы «принять мученичество», но никто не решается причинить ему даже малейшее беспокойст-

ЛЕВИН И КИТИ В СТАРОСТИ

Воспоминания художника Николая Ульянова о Льве Толстом

во. И если во всех случаях он кем-то оберегается, чтобы «не преткнулся о камень ногою», то в дальнейшем, очень скоро, ему придется самому, на глазах всего мира, споткнуться об этот камень.

[...] Несколько вечеров, проведенных в этом доме, мы испытывали почти то же самое чувство, с каким пришли в первый раз. Ничто не мешало нам освоиться с обстановкой, обычаями, членами семьи, такими внимательными, простыми. [...]

[Впечатление об одной семейной сцене.] Смотришь с недоумением, и хочется верить своему впечатлению — сидит не патриарх, а общипанный цыпленок, вызывающий не чувство почтения, а какую-то жалость...

Эта сцена, обыкновенная в обыкновенных домах в семейном быту почти всех людей, производит особо тяжелое впечатление. Ее не хочется вспоминать. Лучше было бы забыть ее как нечто слишком человеческое, наблюдаемое всюду и неуместное здесь, где супружеские конфликты могли бы изживаться в иных формах. Но именно потому, что эта сцена была слишком человеческая, она и характерна для тех лиц, история которых нам была уже известна. Мы знали, кто скрывается под именами Кити и Левина.

Уже потому, как мы попали в дом Толстого, мы считали своей обязанностью снова перечитать его прежние произведения и в особенности тот роман, в котором так много биографических черт самого автора и его жены, — тот роман, который начался когда-то давно и теперь на наших глазах приближался к своей последней странице. Время изменило обоих действующих лиц; но эти лица, уже состарившись, находились перед нами и невольно всякий раз заставляли сверять то, что есть, с тем, что было.

Сцена за картонным столом, писание мелом начальных букв тех фраз большого значения, которые не решаются, не могут высказать влюбленные. И дальнейшая семейная жизнь, медленная и радостная — все это вместе с постоянной мятельностью Левина, желающего жить по правде, вызывало у нас желание узнать, какая же правда будет руководить и к чему приведет эту чету, не похожую по целям жизни на других героев романа...

В последнем периоде своего

творчества Толстой с презрением отзывался об этом своем произведении: какая-то пошлая барыня полюбила такого же пошлого офицера. Возмущавший философ Толстой, конечно, не мог иначе отнестись к Карениной и Вронскому, но что он мог сказать теперь о прежнем и существующем теперь Левине, дожившем до семидесяти лет, и обожаемой когда-то Кити с ее ясными правильными глазами? Когда-то давно сцена за картонным столом, а теперь другая... Не он, Левин-Толстой, а Кити — Софья Андреевна, рыдая, говорила теперь конец романа...

Жизнь Левина и его терзания не всегда трогают нас. Многие из того, что он считал серьезным и важным, нам теперь кажется почти не стоящим внимания. Слишком много было в помещении быту свободного времени, чтобы не испытывать и самому Толстому, подобно Вронскому, желания желаний, тоску, даже невыносимость этой тоски, нарастающей его то на искание Бога, то на мысль о самоубийстве. Не будь Толстой таким большим художником, умеющим волновать даже в те моменты, когда мы не соглашались с ним, большую долю его переживаний мы не поставили бы выше того *broderie anglaise* (вышивание английской глянью. — Ред.), которым наполняла свои досуги так долго желанная и в какой-то период «счастливая» Кити. Уже давно ее муж «был в мучительном разладе с самим собой и напрягал все душевные силы, чтобы выйти из него». На что же могла надеяться посвоему умная и наблюдательная Софья Андреевна, удачно направлявшая семейный быт в благоприятную для нее сторону до тех пор, пока сама не увидела, что все ее силы иссякли и впереди уже ничего не осталось? [...]

Толстой не производил впечатления больного. Он выглядел более, крепким и бодрым, чем большинство в его возрасте. Только иногда по глазам можно было видеть, как он чем-то встревожен и нездоров, — по этим глазам, мерцающим как будто из дупла, подточенного временем, и с усилием поддерживающим в себе остатки жизни. Ни один портрет из многих, написанных разными художниками, не передает нам этого сложного, крепкого в основе, но в чем-то сильно подломленного Толстого. Добросовестный и для

Крамского очень удачный портрет, сделанный в 1873 году, сильно напоминает того, кто «был в мучительном разладе с самим собой».

Портрет работы Ге можно назвать «Писатель Толстой за письменным столом» — и только. Что еще следовало бы добавить в пояснение об этом человеке, склонившемся над рукописью, об этом писателе с большим лбом и складкой между надбровными дугами? Некоторые считают этот портрет самым лучшим. Может быть, в особенности если рядом поставить с ним репинский, тот, где Толстой изображен в черной блузе, сидящим с книгой. Репин писал Толстого в период его наибольшей популярности, уже почти всемирную знаменитость, и взял его не просто со случайной точки, как Ге, а с «замыслом» (нехудожественно задуманный портрет. — Прим. Николая Ульянова). Но замысел едва ли помог чему-нибудь. Как и меньшие по размерам полупортреты, полукадры, сделанные тем же Репиным с той же знаменитой модели; портрет этот может быть включен лишь в серию иллюстраций к той или иной книге под заглавием «Как живет и работает Толстой». Репин, увлеченный внешней стороной, просмотрел или не мог одолеть нечто большее. В великом писателе он не увидел ту червоточинку, которая была замечена многими, но почему-то закрыта для нехудожественно задуманного портрета. Живописный наскок был необходим для художника, решившего сделать портрет Толстого. То, что видели обыкновенные люди, не сумели увидеть портретики.

Другие работы других художников также не поднимаются выше среднего уровня. Все портреты похожи. Да и было бы странно сделать непохожим того, кто внешними своими данными, вообще говоря, не представлял собой трудности для копирования или фотографирования посредством живописи. Но то, что требовало творчества художника, оказалось не под силу всем, старавшимся «зацепить» кистью этого запутанного человека. Весьма вероятно, впрочем, что при строгих требованиях, предъявляемых нами, подобная задача действительно представляла собой непреодолимую трудность.

Как и Пушкин, Толстой в общем итоге оказался неиспользованной, лишь бегло затронутой

моделью. Портрет Пушкина работы Тропинина не вынуждены ли мы считать хорошим только потому, что более эффективный портрет, сделанный Кипренским, значительно менее напоминает нам уже составившийся в нашем представлении облик не только любимого нами поэта Пушкина, но и «беса арабского» — вообще всякой всячиной одержимого пленительного человека? Толстой сидит, пишет, пашет, лежит, отдыхает под деревом, но где же он в общем комплексе, он, затаившийся от всех и ревниво оберегающий свою всякую всячину, встревоженный и лишь в условном (банальном) смысле величавый на вид «властитель дум».

Хрестоматийная торжественность обоих портретов... [...]

Последний раз я виделся с Толстым по определенному поводу. Через Татьяну Львовну он пригласил меня зайти переговорить о моей рукописи «Ге среди молодежи». Своей рукописи я не придавал такого большого значения. Я только взялся за перо в минуту душевной растерянности. [...] Выход со сцены тех или других, известных, малоизвестных и совершенно неизвестных статистов вроде меня. Зачем я пришел, какая необходимость? А вокруг погружается во мрак комната, которая вчера жила людьми и будет жить сегодня, а сейчас будто лес, где замерло эхо. Это — жизнь, над кот[орой] думает и в которой ищет смысл Толстой. Что он делает в эту минуту тут рядом: так долго пишет или просто сидит... Скрипнула дверь...

Я слышу или мне чудится шум пивного Трехгорного завода, стоящего по соседству. Какое странное сочетание — пивной завод, Лев Толстой, у которого я присел в ожидании, — все было теперь так обыкновенно, в порядке вещей. Куда делась Л[ев] Н[иколаевич], я не понимал, спрашивал себя, недоумевал, что сделалось со мной за небольшой перепад времени. И когда вошел Толстой и, присев к столу, стал беседовать со мной, я почти не чувствовал его суровой критики к моему писанию, спокойно выслушивал его замечания, соглашался с ними, не возражал, чувствуя, что не это занимает меня, а что-то другое, более интересное, чем первый литературный опыт.

Я вслушивался в его голос, всматривался в его лицо, в каждый мускул, забыв о цели своего посещения. Да и сам Л[ев] Н[иколаевич] вскоре забыл, о чем мы беседуем, перевел речь на другое, расспрашивал меня о жизни художников, в частности, о жизни А.С. Голубкиной, которую он когда-то видел в своем доме. [...]

Публикация Валерии АБРОСИМОВОЙ